

ДВУЯЗЫЧИЕ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ (В. НАБОКОВ И В. ЛИНДЕНБЕРГ (ЧЕЛИЩЕВ))

Л. М. Борисова

Рассматриваются формы выражения русской ментальности в литературе «первой волны» эмиграции.

Ключевые слова: национальное самосознание, двуязычие, этнический стереотип.

Розглядаються форми вираження російської ментальності в літературі “першої хвилі” еміграції.

Ключові слова: національна самосвідомість, двомовлення, етнічний стереотип.

The article deals with the expression forms of Russian mentality in the first wave of emigration in the Russia literature.

Key words: national self - respect, bilingualism, ethnic stereotype.

Сразу оговоримся, двуязычие интересует нас здесь лишь постольку, поскольку оттеняет характерные тенденции в мироощущении писателей первой волны. Тенденции, как увидим, прямо противоположные. В одном случае (у Линденберга) национальное самосознание принимает форму намеренно репрезентативную, в другом (у Набокова) – столь же намеренно стертую, при том, что оба автора (величины, разумеется, несопоставимые) принадлежат одной – космополитической - ветви в литературе русского зарубежья.

Современная «политкорректная» культурология, как и досоветская, стоит на том, что космополитизм не противоречит патриотизму и национальное преломляется в интернациональном [см. 10, с. 490-491]. Эти преломления – пожалуй, самое интересное в проблеме.

Суть ее обычно видят в синтезе культур, скрепленном двуязычием. В. Казак в этой связи вслед за Набоковым, называет И. Бродского, других, менее известных писателей - М. Волошину, А. Рахманову, В. Синкевич, Б. Шапиро, В. Линденберга (Челищева), которые также «не пренебрегли неродным языком», и заключает: «Душой они все остались русскими писателями <...>» [12, с. 82]. Но, к примеру, Н. Берберова считала «Лолиту» русским романом (точнее, в равной мере европейским, американским, русским) только потому, что Россия - какая ни есть, - часть Европы. Ничего конкретного такая русскость, конечно, не подразумевает. И дело, по Берберовой, совсем не в языке: главное – особого качества образность, а язык – дело второстепенное [см. 2, с. 290-291]. Соответственно, второстепенное дело и двуязычие. Хотя Берберова этого не говорит, вывод напрашивается сам собой.

Любопытно, что - в опровержение всех и всяческих аксиом о природе национального - язык и с точки зрения почвы порой объявляется компонентом важным, но не решающим. «<...> Этнический стереотип поведения – вот то главное, что определяет этнос <...> для него самого» [10, с. 474], - со ссылкой на .Н. Гумилева пишет Ю.С. Степанов. Л.Н. Гумилеву, в свою очередь, для доказательства этого тезиса пришлось прибегнуть к вымыслу: по его словам, Ахматова, которую в ее обедневшей семье готовили в гувернантки, до шести лет совсем не знала по-русски и выучила язык, только когда ее стали отпускать на улицу играть с другими детьми.

Гумилев явно подгоняет биографию поэтессы под набоковский миф, с тем чтобы, по существу, ему противопоставить.

При желании еще легче было бы подвести под этот миф судьбу Линденберга (Челищева). Челищевы - род, не менее знатный, чем Набоковы, они даже были связаны семейными узами с Рюриковичами. Один из пращуров Линденберга - известный воевода Бренко, павший на Куликовом поле. Крестной матерью этого Владимира была великая княгиня Елизавета Федоровна, а дочь славянофила Хомякова приходилась ему прабабкой [родословную Линденберга (Челищева) см. в: 6, с.85]. В детстве у него было свое Рождествено – подмосковное Гиреево, и, подобно Набокову, на чужбину он вывез комплекс бездомности: «<...> самая ужасная мысль для нас теперь – это владеть домом!» [6, с. 9].

Про языковую среду, в которой он рос, можно в полной мере сказать: «смешение языков». Бабка-полька (мать Линденберга (Челищева) происходила из польско-шведской семьи) так же не владела русским, как и отчим-немец. С дочерью она говорила по-французски, однако о ее французском внук по прошествии лет отзывался с иронией. Но так как эта среда не создавалась искусственно, то никакой изоляции от родного языка не было. Мальчик потому и не понимал «Карлушина» русского, что привык к старомосковской няниной речи. Но тут уже начинаются расхождения с мифом о природном космополите.

Покинув Россию в восемнадцать лет, Линденберг (Челищев) всю последующую жизнь провел в ненавистной Набокову Германии и как писатель укоренился в немецком языке, которого Набоков предпочитал не знать (или скрывал знание). Линденберг (Челищев) немало потрудился в психологии - науке, совершенно чуждой Набокову. Даже главная страсть обоих - потусторонность – мало их сближает. Иномирие Набокова – адогматично и неопределенно. Духовность Линденберга (Челищева) имеет в основе своей гностицизм. На его развитие в этом отношении успел оказать влияние отец – Александр Сергеевич Челищев-Красносельский, математик и музыкант, близкий к символистам, член московского кружка «аргонавтов». Мистицизм Челищевых был, можно сказать, наследственным. Еще в восемнадцатом веке один из них, мастер ордена розенкрейцеров, устроил в лесах под Рыбинском тайный медитативный центр, где, по словам биографа писателя, «ради длительных духовных упражнений» вместе с отцом бывал юный Владимир [12, с. 83].

Но самое главное различие в рамках данной темы связано с осознанием этими двумя своей русскости. Линденберг, писавший по-немецки об иконе, о старой и революционной России, прослыл в Германии носителем русского духа. Он был далеко не единственным миссионерски настроенным к Западу русским эмигрантом. «Мы здесь сидим на чужбине, невесело, наша большая задача – просто показывать добро настоящее» [4, с. 7], - рассуждал Б. Зайцев. Но все-таки первую свою задачу эмиграция видела в сохранении духовно-национального наследия для будущей обновленной России. В этом смысле Линденберг не был особенно активен. Однако в чужом языковом пространстве действовал в духе ностальгирующих русских патриотов.

«Подумайте про себя из глубины, сосредоточенно, молча: «светлая заутреня»; «всенощная»; «панихида»; «Сергий»; «Гермоген»; «Кремль»; «Куликово поле»; «Пожарский»; «Киев»; «Москва»; «Петр»; «Пушкин»; «Гоголь»; «Достоевский»; «наша песня»; «наша армия»; «наши монастыри» «Оптина Пустынь»; «коронование» <...>» [5, с. 257], - призывал соотечественников И. Ильин. Автобиографическая

проза первой волны - вся из этой памяти. Книга Линденберга о его русском детстве - «Марионетки в руке Господней» - воспроизводит те же «этнические стереотипы»: «Богомолье», «Рождество», «Воистину воскрес!»). Но при этом в последней, самой ответственной, кульминационной главе – курьез, чтобы не сказать конфуз: в канун Пасхи все - чада, родители, домочадцы – просят друг у друга прощения [см.13, с. 285-287]. Невозможно себе представить, чтобы кто-то еще из писателей первой волны перепутал Страстную пятницу с Прощеным воскресеньем. В нерасторжимую гармонию национального быта и духовных исканий Серебряного века после этого верится с трудом. Зато еще заметнее становится то обстоятельство, что патриархальный уклад жизни «белого дома» придают слуги, а его хозяева – люди очень своего времени. Не случайно же в раннем повествовании о детстве («Три дома»), написанном без задней мысли о миссии, восемнадцатилетний автор отлично обошелся без «этнических стереотипов».

Что касается Набокова, то он всегда держался от них нельзя дальше и проблему национального решал в штирнеровском духе: «национальность – моя собственность, мое качество» [11, с. 232]. Его миссия в эмиграции - стать Единственным и при этом остаться русским, остаться *единственным русским*. Единственным русским, впрочем, после революции чувствовал себя не он один.

«Они никогда не должны были сопрячься по всем существующим законам – от социальных до теории вероятности» [9, с. 190], - пишет В. Старк, проводя одно «странное сближение»: Набоков – Есенин. И убедительно доказывает, что ни к кому иному, как к Есенину, относятся набоковские строки:

И долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.

«Поразительно, что, известный своим резким неприятием всяческой русской «душевной» разгульности, в случае Есенина Набоков о ней почти ностальгически печалится. <...>. Никакой другой из поэтов советской России никогда у него подобных чувств не пробуждал» [9, с.194], - замечает исследователь.

Видимо, что-то сдетонировало в невозмутимом Набокове на есенинскую тему:

Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Не на эти именно стихи («Санкт-Петербург – узорный иней...») написано раньше), но на реальность есенинского одиночества. Одно дело – быть Единственным в эмиграции, где о родине тосковали тысячи, и другое дело – в советской России. Есенин сделался Единственным обстоятельства, для него это тяжкое бремя, он-то как раз – «принадлежность нации»:

Ты мне пой. Ведь моя отрада –
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин;

Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь –
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

Единственный Есенина относится к Единственному Набокова как прототип - к роли. В этом причина «серьезного» набоковского молчания о Есенине.

Набоков неоднократно признавался, что его Россия – детство и русский язык. Но детство, как известно, было английским, остается одно – язык. Из всех признаков национального Набоков, таким образом, выбирает «неважный». А начав переводить на английский «Онегина», убеждается, что выбрал правильно: «Парадоксально, но, с точки зрения переводчика, единственным существенным русским элементом романа является именно эта речь, язык Пушкина <...>» [8, с. 36]. Переводческий метод Набокова – самый что ни есть буквальный подстрочник, с вездливым переводом непереводаемого – многими оценивался как курьезный. Русский перевод романа “Solus Rex”, выполненный В.Е. Набоковой по тем же принципам, специалисты принимают скрепя сердце, досадуя на «школярскую дисциплину» [1, с. 233]. Но то, что у В.Е. Набоковой отдает ученичеством, у самого Набокова не зря переросло в основательный научный комментарий. Его буквализм - производное не афишируемой, но несомненно присущей ему философии национального.

Общеизвестно, что буквальный перевод не всегда приближает оригинал к иноязычной аудитории. Набокова в творчестве меньше всего волновали проблемы коммуникации. Отказываясь от эквивалентов и соответствий, он раскрывал *индивидуальность языка*. Не только пушкинского, вообще русского. А его внимание к французским и английским корням пушкинской фразеологии свидетельствует о нежелании упрощать индивидуальность.

На вопрос, для кого пишет писатель, Набоков отвечал: то «для себя», то «для художников-последователей». О своем «Онегине» он высказывался иначе: «Россия должна будет поклониться мне в ножки (когда-нибудь) за все, что я сделал по отношению к ее небольшой по объему, но замечательной по качеству словесности» [7, с. 98]. Заслугу Набокова, однако, не хуже понимают и иностранцы. Некоторые из них оценивают четырехтомный труд о Пушкине как «кульминационный пункт не только литературоведческой, но и писательской деятельности Набокова» [3, с. 157].

Литература:

1. Анастасьев Николай. Феномен Набокова. – М.: Сов. писатель, 1992. – 320 с.
2. Берберова Н. Набоков и его «Лолита» // В.В. Набоков: Pro et contra: Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология. – СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 1997. – 947 с.
3. Браун Кларенс // Актуальные проблемы теории художественного перевода: Материалы всесоюзного симпозиума (25 февраля – 2 марта 1966 года). – Т.2. – М.: б.и., 1967. – С. 157 – 171.
4. Зайцев Борис. Странник. – Петербург: Scriptorium, МСМХСІІ. – 112 с.
5. Ильин И.А. Родина и мы // Ильин И.А. Собр. соч: в 10 т. – Т. 9–10. – С. 255 – 275.
6. Линденберг (Челищев) Владимир. Три дома. Автобиография 1912-1918 гг., написанная в 1920 году / Подг. текста и послесловие Вольфганга Казака. – München: Verlag Otto Sagner in Kommission, 1985. – 92 с.
7. Набоков В. Переписка с сестрой. – Ann Arbor; Ardis, 1985. – 126 с.
8. Набоков Владимир. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». – СПб.: «Искусство – СПб»; «Набоковский фонд», 1998. – 928 с.
9. Старк Вадим. «Странное сближение» – Набоков и Есенин // Звезда. – 1994. - №4. – С. 190 –194.

10. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 824 с.
11. Штирнер Макс. Единственный и его собственность. – Харьков: Основа, 1994. – 560 с.
12. Kasack Wolfgang. Владимир Линденберг (Челищев) и его первая русская книга «Три дома»: Послесловие к первому изданию, запоздавшему на 65 лет // Линденберг (Челищев) Владимир. Три дома. Автобиография 1912-1918 гг., написанная в 1920 году. – С. 81-84.
13. Lindenberг W. Marionetten in Gottes Hand: Eine Kindheit im alten Rußland.- München; Basel: E. Reinhard Verlag, 1991. – 292 s.